

**1917–1991:
история
одного
дыхания**



Валентин Верешков

18+

Валентин Верешков 1917–1991: история одного дыхания

<https://litres.ru/74525202>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он родился в огне революции. Выжил в крови Гражданской. Танцевал в космосе. Разжирел в застое. Сгорел в Чернобыле. Его зовут Титан — и он не человек. Он — Советский Союз, который говорит с читателем от первого лица.

Это роман-исповедь, роман-эпос и роман-аутопсия. История страны здесь рассказана как история человека: утроба старой империи, первый крик «Интернационала», голод, вырванные зубы, железная маска, война, оттепель, ожирение, язва Афганистана, радиационный разрыв аорты. Вожди становятся опекунами и хирургами, республики — детьми, народ — кровью и совестью, а годы — судорогами и реанимацией.

От 1917-го до 1991-го. От первого вдоха до последнего выдоха. От «Поехали!» до спущенного флага. Это книга о том, как можно было так сильно любить жизнь и так трагически её убить; о том, как империи рождаются, стареют и умирают; о том, что даже после смерти дыхание остаётся — в памяти, в истории, в лёгких тех, кто до сих пор спорит о Титане.

Содержание

ПРОЛОГ. «АУТОПСИЯ»	4
ЧАСТЬ I. «УТРОБА И ПЕРВЫЙ КРИК»	9
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Валентин Верешков 1917–1991: история одного дыхания

ПРОЛОГ. «АУТОПСИЯ»

Ночь с 25 на 26 декабря 1991 года.

Я лежу на столе.

Металлическом, холодном, как сама вечность. Лампа без абажура — та самая, лампочка Ильича — мигает над моей головой. Желтый, предсмертный свет падает на потолок с облупившейся краской. Когда-то здесь был сталинский ампир — лепнина, колонны, величие. Теперь осталась только казенная комната. На стене карта моей жизни — Союз Советских Социалистических Республик. Ее уголки уже отклеились, она сворачивается внутрь, как старая кожа, как увядшие листья. Скоро ее снимут. Или оставят гнить вместе со мной.

За окнами шум. Приглушенный, как сквозь вату. Люди кричат, спорят, празднуют или оплакивают — я не различаю. Я слышу только фон, гул, безликое жужжание толпы, которая не знает, что делать со своим освобождением. И музыка. Знакомая мелодия из программы «Время» — она заикли-

лась на одном такте и повторяется, повторяется, повторяется, как заезженная пластинка, как мое сердце, которое больше не бьется.

Запах формалина. Медицинский, тошнотворный, въедливый. Но сквозь него пробивается что-то другое. Старая пыль — та, что оседает годами в углах, за шкафами, в складках портьер. Махорка — чей-то последний окурок давно потух, но запах остался. И еще — едва уловимый, электрический, режущий — запах озона. Как после ядерного взрыва. Как после того, как я чуть не сжег мир в шестьдесят втором.

Я пытаюсь пошевелить пальцами. Они не двигаются. Они отнялись. Я слышу, как в коридоре мои 15 детей собирают вещи, шушукуются, перешептываются. *«Мы уходим»*, — шепчет одна. *«Мы большие не хотим быть тобой»*, — вторит другая. Я хочу крикнуть: *«Стойте! Я ваш отец!»* — но голоса нет.

Вокруг моего стола стоят трое.

Я не вижу их лиц, но я знаю их голоса. Я знаю их лучше, чем они знают самих себя.

Первый — тот, чей голос груб, как наждак. Хрипотца, песок, металл. Халат в пятнах — старых, застарелых, коричневых. Он похож на мясника, который вскрывает туши на бойне. Он тычет в меня скальпелем.

«Он был болен с рождения, — говорит он. — Взгляни на эти хромосомы. Большевизм. Несовместимость с жизнью. Я всегда это знал. Я знал это, когда он еще только крях-

тел в своей люльке из тронных обломков. Врожденный порок сердца, порок печени, порок разума. Ему нельзя было жить. Он был обречен с первого крика».

Второй — голос тонкий, интеллигентный, с акцентом. Он режет меня нежно, почти с сожалением, как хирург, который знает, что пациент уже мертв, но обязан довести вскрытие до конца.

— Вы ошибаетесь, коллега. Его убили. У него был шанс. Вы видели его в шестьдесят первом? Он летел в космос. Он был героем. Его можно было спасти. Смотрите сюда. След от удара — Беловежская пуля. А здесь, в грудной клетке, — разрыв аорты. Чернобыль. Это не болезнь, это халатность. Его не спасли. Его добились.

Третий — женщина. Она молчит. Она в белом платке, простом халате, старых туфлях. Она не спорщик, не хирург, не прокурор. Она сиделка. Она подает инструменты. Она вытирает мое лицо влажной тряпкой, и я чувствую запах ее рук — мыло, хлеб, немного пота. Она не спорит. Она не доказывает. Ее молчание говорит громче их слов.

«Какая разница, от чего ты умер? — спрашивает она меня взглядом. — Ты умер. А они все еще живы. И им еще жить с этим».

Она знает правду. Я знаю ее тоже. Я — живой труп, который слушает, как врачи спорят о причине его смерти. И я знаю: правы оба. И ни один.

Я просто устал.

Я открываю глаза. Хирурги все еще спорят. Сиделка все еще гладит мое лицо. Лампа все еще мигает.

Они говорят, что перед смертью проносится вся жизнь. Я слышал это. Я сам говорил это тем, кто умирал у моих ног. Но теперь я знаю: это ложь. Моя жизнь слишком длинная, чтобы промчаться за секунду. В ней слишком много костей — сломанных, несращенных, перемолотых в пыль. Слишком много песен — тех, что пели на Красной площади, и тех, что пели в подвалах. Слишком много лжи и слишком много правды — той, что говорили мне, и той, что говорил я. Слишком много крови. Слишком много слез. Слишком много надежд, которые рассыпались, как песок.

Как я могу умереть за мгновение?

Как я могу уместить в одну вспышку все это — войны, стройки, звезды, очереди за хлебом, Гагарина, целину, застой, Чернобыль, путч, Беловежскую пушу?

Как я могу забыть лица?

Имена?

Обещания?

Я не могу. Поэтому я остаюсь здесь. На этом столе. Под этой лампой. Под этим тяжелым одеялом.

Я закрываю глаза. Я делаю последний вдох — или то, что от него осталось. И я начинаю говорить.

«Давайте я расскажу вам всё по порядку. Иначе вы никогда не поймете, как можно было так сильно любить жизнь и так глупо её убить. Иначе вы никогда не поймете, как

можно было родиться с шепотом «Интернационала» и умереть с криком « Перемен ». Слушайте. Я буду долго. Потому что моя история — это не мгновение. Это целая жизнь. Целая эпоха. Целое дыхание, которое я задержал на семьдесят четыре года ».

Я делаю вдох. И начинаю.

ЧАСТЬ I. «УТРОБА И ПЕРВЫЙ КРИК»

1917–1924 годы.

ГЛАВА 1. «БЕРЕМЕННОСТЬ ИСТОРИЕЙ»

Темнота.

Абсолютная, густая, как патока. Я еще не знаю, что я — я. Я еще не знаю, что такое свет, что такое боль, что такое слово. Я просто есть. Сгусток тепла. Сгусток ожидания. Сгусток страха, который еще не умеет называть себя страхом.

Вокруг меня стены. Они живые. Они дышат. Они сжимаются и разжимаются, как легкие огромного зверя, который вот-вот умрет. Это утроба. Это тело. Старая Империя — больная, уставшая. Я чувствую ее агонию каждой своей клеткой. Ее сердце бьется где-то далеко-далеко, но я слышу этот стук — глухой, неровный, с пропусками. Оно кашляет. Оно пытается держать меня внутри, но я уже слишком большой. Я уже слишком тяжелый.

Голоса снаружи доносятся как через слой воды. Они глухие, они искаженные, они режут слух, которого у меня еще нет.

«Хлеба!» — кричит кто-то. Голос мужской, надорванный, с хрипотцой. «Хлеба и мира!»

«Долой царя!» — вторит другой. Женский. Пронзитель-

ный. Как нож.

«*Земли! Земли нам, барин!*» — третий. Деревенский, тяжелый, как ком грязи.

Я не понимаю слов. Но я понимаю чувства. Голод. Злость. Надежду. Они текут сквозь стенки утробы, проникают в мою кровь, смешиваются с моим теплом. Они становятся мной. Я еще не родился, а уже несу в себе их крики. Их голод. Их отчаяние.

Иногда наступает тишина. Она хуже криков. В тишине я слышу, как стены утробы трещат. Как старая имперская кожа покрывается морщинами и лопается. Как где-то там, снаружи, падают троны и поднимаются знамена. Я чувствую это — дрожь земли, дрожь истории, дрожь самой судьбы. Я чувствую, как мир переворачивается, и я вместе с ним.

Первый толчок приходит внезапно.

Февраль. Я не знаю, что это февраль. Я не знаю, что такое месяц. Я просто чувствую, как стены утробы содрогаются в конвульсиях. Императорский трон падает. Я слышу грохот — далекий, но оглушительный. Золото, бархат, вечность — все рушится, превращается в пыль, в обломки, в сор. В утробе становится свободнее. Я могу дышать. Но становится холоднее. Тепло уходит вместе с империей. Я сжимаюсь в комок, пытаюсь сохранить последние крупички тепла.

«*Тише, тише, еще рано*», — шепчет кто-то снаружи.

Голос. Чужой. Горячий. Он гладит стенки моей утробы — моей темницы, моего дома, моего убежища. «*Дайте мне*

реформы. Я всё исправлю. Я спасу вас. Я спасу его. Тише, тише...»

Этот голос — он принадлежит тому, кто пытается быть акушером. Кто хочет задержать мои роды. Кто хочет переписать историю, не давая мне родиться. Его зовут Акушер. Я не знаю его имени. Я чувствую только его руки — горячие, нервные, неуверенные. Он накладывает на утробу Временный гипс. Белый, хрупкий, трескающийся. Я чувствую, как он мешает мне дышать. Как сжимает мои легкие, которые еще не научились вдыхать воздух. Я пытаюсь вытолкнуть его локтем. Я пинаю его изнутри. Я кричу без голоса: *«Убери руки! Ты не врач! Ты актер, который надел халат! Ты не можешь меня остановить!»*

Но он не слышит. Или делает вид, что не слышит.

«Тише, тише...» — шепчет он снова. *«Я всё исправлю. Я дам вам свободу. Я дам вам землю. Я дам вам мир. Только подождите. Только не сейчас...»*

Я ненавижу этот голос. Я ненавижу его успокаивающие интонации. Я хочу, чтобы он замолчал. Я хочу, чтобы он исчез. Я хочу родиться.

Внезапно — новый толчок.

Лавр. Я не знаю его профессии. Я чувствую только его жесткость, его решимость, его железную хватку. Лавровская попытка — это преждевременная схватка. Стены утробы сжимаются, как тиски. Я думаю: *«Это оно! Это час! Я рождаюсь!»* — и сжимаюсь в комок, готовый вырваться наружу.

Но Акушер не дает мне родиться. Он вкалывает мне Левое успокоительное. Они проникают в мою кровь, и схватки затихают. Я чувствую, как мои мышцы расслабляются, как воля уходит, как надежда тает. Я снова в темноте. Я снова в тишине. Я снова внутри.

Я разочарован. Я зол. Я хочу выйти. Я хочу увидеть свет — если он вообще есть. Или там снаружи та же тьма, только без стен?

Тысячи голосов. Они звучат одновременно. Они сливаются в один многоголосый хор, как сердцебиение моей матушки, которая умирает и не хочет отпускать меня.

«Хлеба! Мира! Земли!»

Этот ритм ускоряется. Я чувствую, как оно, сердце матушки, бьется быстрее, быстрее, быстрее. Оно вот-вот остановится. Оно уже захлебывается собственной кровью. Я сжимаю кулаки — те самые, которые у меня еще нет, но уже есть. Я готов. Я рвусь. Я не могу больше ждать.

Ночь с 24 на 25 октября.

Я чувствую, как кто-то снаружи — новый, незнакомый, но уверенный — касается стенок моей утробы. В его руке не мягкие пальцы Акушера. Не железные когти Лавра. В его руке — скальпель, сделанный из подножки броневика. Он режет. Он режет быстро, грубо, без наркоза. Он режет с той жестокостью, с какой рвут старые занавески, чтобы сделать из них знамена.

Я чувствую, как мой дом — моя темница, моя утроба

— разрывается. Удушье достигает предела. Я не могу больше ждать. Я не могу больше терпеть. Я делаю последний вдох амниотической жидкостью — теплой, соленой, пахнущей железом. Это имперская кровь. Это ее последний дар мне. И я рву мембрану.

Я выхожу не через родовые пути, не естественно, не по правилам. Я рождаюсь через кесарево сечение, сделанное наспех, грубо, революционно. Тот, кто режет — отец-Основатель. Я еще не знаю его имени. Я чувствую только его пальцы — холодные, сухие, уверенные. Они хватают меня за руку и вытаскивают в мир.

И тут — свет.

Первый свет, который я вижу, — красный. Он не мягкий, не больничный, не утренний. Он горячий. Он жгучий. Это знамена над дворцом. Это кровь на снегу. Это пожар, в котором сгорает старый мир. Я моргаю — или то, что у меня есть вместо глаз, — и пытаюсь понять, где я. Я вижу дым. Я вижу лица — испуганные, злые, ликующие. Я вижу оружие. Я вижу руки, которые тянутся ко мне, чтобы поймать, чтобы обнять, чтобы сжать, чтобы сломать.

Я открываю рот. Я хочу закричать. И из меня вырывается не плач — нет, это слишком просто, слишком обыденно, слишком человеческое. Из меня вырывается «Интернационал». Он звучит фальшиво. Он звучит как песня, которую поют на расстроенном пианино. В нем есть надежда, и в нем есть ложь. В нем есть величие, и в нем есть трагедия. Я кри-

чу гимн, которого еще не знаю. Я кричу будущее, которое еще не наступило.

Первый звук моего голоса — это не просьба о тепле. Это декларация войны старому миру.

Первая мысль, которая прорезается сквозь туман рождения:

«Где мои ноги? Где мои руки? Я — целое? Или я просто кусок, оторванный от старого мира? Я — тело? Я — идея? Я — кто?»

Меня кладут на холодный стол. Стол сделан из обломков трона. Я чувствую их под своей спиной — золотых орлов, резные ножки, бархат, пропитанный кровью. Они оцарапали меня, но я не плачу.

Надо мной склоняется человек. Его лицо — первое, которое я вижу четко. Глаза острые, как бритвы. Лоб высокий, почти лысый. Бородка острая, как кинжал. Он смотрит на меня не как на младенца. Он смотрит на меня как на проект. Как на оружие. Как на будущее. И он говорит. Его голос — первый голос в этом новом мире — звучит так:

«Ты не просто ребенок. Ты — мост. Ты — факел. Ты сожжешь старый мир и построишь новый. Запомни это первым. Ты не имеешь права быть слабым. Ты не имеешь права плакать. Ты — великий . Ты — Титан . Запомни это навсегда».

Я не понимаю слов. Я еще не знаю языка. Но я чувствую тяжесть имени, которое он на меня навешивает. Я хочу пить.

Я хочу в тепло. Я хочу, чтобы меня обняли, прижали к груди, дали молоко, убаюкали.

Я закрываю глаза. Вокруг меня говорят. Спорят. Кричат. Бьют по столу. Пьют. Целуются. Плачут. Я не понимаю ничего из этого. Я просто лежу и жду. Жду, когда меня снова начнут бить — но уже не скальпелем, а жизнью.

Я не знаю, что такое старый мир. Я только чувствую, как обломки трона впиваются в мою спину. И засыпаю. В нем я вижу заводы, которые строятся из пепла. Я вижу людей, которые идут в колоннах. Я вижу звезды, которые падают к моим ногам.

Но это случится позже. А сейчас я просто сплю. Новорожденный. Голодный. Холодный. Но живой. Еще живой.

ГЛАВА 2. «КРАСНАЯ ЛИХОРАДКА»

Тяжело заболел зимой 1918 года.

Температура подскочила до сорока. Я лежу в своей люльке — той самой, из обломков трона, — и меня трясет. Меня колотит так, что кости стучат друг о друга. Я весь в красных пятнах. Сначала я думал, что это свет — тот самый красный свет, в котором я родился. Но нет. Это сыпь. Это болезнь. Это война.

Каждое пятно как фронт.

Там — Украина. Кожа горит, как будто ее прижигают каленым железом. Гетманы, петлюровцы, белые, махновцы — они мечутся, как муравьи в разоренном муравейнике. Они

жгут. Я чувствую запах гари и пшеницы, которую никто не собирает.

Там — Сибирь. Холодно. Морозно. Пальцы немеют. Я пытаюсь сжать их в кулак, но они не слушаются. Я чувствую, как лед проникает в мои суставы, как замораживает мои кости.

Там — Дон. Казаки бьют меня копытами. Каждый удар — как выстрел. Каждый выстрел — как потеря. Я слышу, как они скачут по моей грудной клетке, топчут мои ребра, ломают мою надежду.

Я чешусь. Я хочу расчесать эти пятна до крови. Но мои руки еще слишком слабы. Они тянутся к пятнам, но не могут достать. Они маленькие. Они немощные. Они только учатся быть руками. Я пытаюсь помочь им, но мои пальцы не слушаются. Они дрожат. Они сжимаются в кулаки, но разжимаются быстрее, чем я успеваю ударить.

Я болен. Я — младенец, которого лихорадит, и никто не может меня вылечить. Никто не может приложить холодный компресс к моему лбу. Никто не может протереть мое тело уксусом. Никто не может просто сесть рядом и взять меня за руку.

«Матушка», — шепчу я в бреду. «Матушка, где ты? Почему ты ушла? Я остался один. Я остался один с этими лихорадками. Я не хочу быть великим. Я хочу, чтобы ты меня обняла. Я хочу, чтобы ты сказала, что все пройдет. Я хочу...»

Но мамы нет. Она умерла. Она родила меня и умерла.

Я не знаю, сколько я лежу в лихорадке. Дни и ночи сливаются в один бесконечный, пульсирующий ком. Солнце встанет и садится, но я его не вижу. Я вижу только пятна. Красные, горячие, пульсирующие в такт моему сердцу — тому сердцу, которое бьется уже не для меня, а для войны.

И в один из этих дней — не знаю, какой, я сбился со счета, — в мою комнату входит человек.

Он не похож на врача. Он похож на хирурга. На полевого хирурга, который оперирует прямо под пулями. В руках у него не чемоданчик с лекарствами — у него ножницы. Острые, блестящие, хищные. На носу — пенсне. Взгляд — ледяной, расчетливый, безжалостный.

«Кто ты?» — хриплю я. Мой голос — это шепот, шелест сухих листьев. «Ты пришел меня лечить? Или добить?»

Он не отвечает. Он просто берет мою руку, и начинает вкладывать в её саблю.

Я кричу. Я кричу так, как не кричал даже при рождении. Но он не останавливается.

«Терпи», — говорит он, не поднимая глаз. «Терпи, Титан. Без сабли ты будешь медузой. А нам нужен хищник. Мы не можем позволить себе плавать в море истории, как беспозвоночные. Нам нужен позвоночник. Нам нужна сталь».

Он берет укол и впрыскивает его в мой позвоночник. Я чувствую, как жидкость проникает в мои кости, как заполняет пустоты, как создает новый костный мозг. Я вижу, что

у меня формируется новая сила.

Я кричу. Я бьюсь в конвульсиях. Но он продолжает.

«Еще немного», — шепчет он. «Еще немного боли — и ты сможешь ходить. Еще немного — и ты сможешь стоять. Еще немного — и ты сможешь защищать».

Я смотрю на него сквозь слезы. Сквозь пот. Сквозь жар. Он не смотрит на меня как на пациента. Он смотрит на меня как на проект. Как на оружие, которое нужно выковать, прежде чем оно остынет. Его зовут Лев. Я чувствую его руки — жесткие, холодные, умелые. Они создают меня заново.

Железная дисциплина входит в мои суставы. Теперь они скрежещут, когда я пытаюсь пошевелить ими. Теперь я не могу согнуть руку без того, чтобы не услышать этот металлический звук.

«Готово», — говорит он и вытирает руки о свой хирургический халат. «Теперь ты можешь встать. Попробуй».

Я пытаюсь встать. Я поднимаюсь на ноги, но они дрожат. Они не хотят держать меня. Я падаю. Снова встаю. Снова падаю. И вдруг замечаю его. Бронепоезд. Он стоит в углу моей комнаты, черный, тяжелый, железный. Это мои ходунки. Лев подводит меня к ним.

«Держись», — говорит он. «Делай первые шаги».

Я иду, потому что если я остановлюсь, я упаду. А если упаду, меня не поднимут.

Лев уходит. Он не прощается. Он просто закрывает дверь и оставляет меня одного. Я делаю еще один шаг. И еще. Мои

ноги — мои стальные ноги — стучат по полу. Я слышу этот звук. Металлический. Пустой. Гулкий.

Я — на ходунках. Я учусь ходить.

1921 год. Антоновщина, махновщина, крестьянские восстания — это крики моего собственного тела. Я пытаюсь успокоить их, но они не слушаются. Они не хотят быть частью великого. Они хотят быть маленькими, отдельными, свободными.

Я ложусь на кровать. Я устал. Устал от лихорадки. Устал от войны. Устал от боли, которая не проходит, даже когда я закрываю глаза. Я смотрю на свои руки. Они все еще перетянуты бинтами. Они все еще красные. Но пятна начинают бледнеть. Температура падает.

Я открываю рот. Я хочу заговорить. Я хочу сказать что-то важное. Что-то, что запомнится. Но из меня вырывается только хрип. Только шелест. Только первый осмысленный звук, который я произношу после трех лет лихорадки:

«Я есть...»

Я замолкаю. Я смотрю в потолок. Я чувствую, как моя кожа висит на костях. Я — младенец, который попробовал войну вместо молока. Я — новорожденный, который прошел через Гражданскую войну, но вышел из нее не человеком, а скелетом. Я — это одни лишь кости и крик.

«Где хлеб?» — шепчу я в пустоту. *«Где жизнь? Где то, ради чего я родился? Я хочу чувствовать тепло. Я хочу чувствовать сытость. Я хочу чувствовать любовь. А я чув-*

ствую только голод. Только холод. Только пустоту».

В ответ — тишина. Только ветер за окном. Только шаги в коридоре. Только шелест бумаг — новых декретов, которые мне приносят вместо молока.

Я закрываю глаза. Я уснул. Мне приснилась еда. Хлеб. Масло. Мясо. Я сжимаю его в руках, но оно рассыпается. Оно превращается в песок. В пыль. В кости.

Я просыпаюсь от того, что кто-то касается моего лица. Чья-то рука. Теплая. Живая. Я открываю глаза и вижу ее — сиделку. Она старая. Она в платке. Она вытирает пот с моего лба.

«Тише, тише», — шепчет она. «Всё прошло. Ты выжил».

Я смотрю на нее. Я хочу спросить: *«Зачем? Зачем я выжил? Чтобы снова голодать? Чтобы снова болеть? Чтобы снова терять?»*

Но она уже уходит. Она оставляет меня одного. Я смотрю на свои руки. Они все еще худые. Но на них уже нет пятен. Только рубцы. Красные рубцы. Это границы, которые никогда не заживут. Это память о лихорадке, которая останется со мной навсегда.

Я поворачиваю голову и вижу его. Льва. Он стоит в дверях, скрестив руки. Он смотрит на меня с холодным удовлетворением.

«Теперь ты знаешь, что такое боль, Титан», — говорит он. «Ты знаешь, что такое потеря. Ты знаешь, что такое жестокость. Ты выжил. Ты окреп. Ты готов к следующему

этапу».

Я хочу ответить ему. Я хочу сказать: *«Я не готов. Я устал. Я хочу быть просто человеком. Я хочу, чтобы меня любили».*

Я закрываю глаза. Я делаю вдох. Первый спокойный вдох за три года. И я говорю — не вслух, не шепотом, а где-то внутри себя, в той части, где еще осталась надежда:

«Я есть. Я есть. И я хочу жить. Не просто существовать. Не просто воевать. Не просто терпеть. А жить. По-настоящему. С мясом. С теплом. С любовью».

Тишина.

«Пожалуйста», — добавляю я.

За окном начинается дождь. Он стучит по стеклу, как тысячи маленьких молоточков. Я смотрю на дождь и думаю: *«Может быть, завтра будет лучше. Может быть, мне дадут еды. Может быть, меня обнимут. Может быть...»*

Скрипит дверь. Кто-то входит. Я поворачиваю голову. Это не Лев. Это другой. Высокий. Худой. С глазами, которые горят.

Это Основатель. Он смотрит на меня и улыбается. Его улыбка — тонкая, хитрая, как нож.

«Ты справился», — говорит он. *«Ты прошел через ад. Теперь ты готов к новой жизни. К хлебу. К надежде. Я дам тебе все, что ты хочешь. Только пообещай мне одно: не останавливайся. Никогда».*

Я смотрю на него. Я хочу верить. Я хочу верить, что завтра

будет лучше. Я хочу верить, что он даст мне то, что я прошу. Я хочу верить, что боль закончилась.

Но где-то в глубине меня — в том рубце, что на Украине, — я уже знаю: это не конец. Это только начало.

Я закрываю глаза и засыпаю.

Начинается новая эпоха. И я, Титан с рубцами и пустым желудком, готов к ней.

Или мне так кажется.

ГЛАВА 3. «ПЕРВЫЙ ПРИКОРМ И КРИЗИС»

Я лежу на спине и смотрю в потолок. Я уже научился дышать. Я уже научился не кричать при каждом прикосновении. Я уже почти привык к тишине, которая наступила после лихорадки.

Дверь открывается. Входит Основатель. В руках у него ложка. Простая, деревянная, стертая от времени. В ложке — не молоко. В ложке — рынок. Хлеб с маслом, частная торговля, улыбки нэпманов, запах свежей выпечки и свободы. Он подходит ко мне, садится на край моей кровати и протягивает ложку к моему рту.

«Ешь», — говорит он. Голос усталый, но в нем слышится что-то новое. Нежность? Жалость? Надежда? «Ешь, Титан. Ты должен набраться сил. Ты должен вырасти. Без еды ты не сможешь идти вперед».

Я открываю рот. Я впервые чувствую вкус. Он не горький, не металлический, не кровавый. Он сладкий. Он настоящий.

Мой истощенный организм жадно глотает. Я чувствую, как еда проникает в мои вены, как согревает мои внутренности, как возвращает мне жизнь.

Я начинаю набирать вес. Мои щеки. Мое дыхание становится глубже. Мои руки перестают дрожать. Я могу дышать, не захлебываясь кашлем. Я могу смотреть в будущее без страха.

Но из угла доносятся крики.

«Ты ешь, а мы голодаем!» — голос резкий, обвиняющий. *«Ты предаешь революцию! Ты кормишься от буржуев! Ты забыл, кем был рожден!»*

Это голоса левых. Они смотрят на меня с укором. Они видят в ложке предательство, измену, капитуляцию. Они говорят, что я должен голодать, чтобы остаться чистым. Что я должен страдать, чтобы сохранить идею. Что я не имею права на хлеб, если он пахнет рынком.

Я смотрю на ложку в своей руке. Я смотрю на хлеб с маслом. Я чувствую его вкус на языке. И я не знаю, что делать.

«Мне дают еду», — шепчу я себе. *«Но говорят, что она отравлена. Что мне делать — есть или голодать? Жить или умереть? Быть сытым или быть правым?»*

Я не нахожу ответа. Я просто глотаю. Снова. И снова. Потому что желудок сильнее идеологии. Потому что голод сильнее веры. Потому что я — живой организм, а не каменная статуя.

Но организм бунтует. Он не может переварить эту пищу.

Она слишком жирная, слишком сладкая, слишком чужая. Мой желудок — Кронштадт — начинает сокращаться в спазмах. Я чувствую, как он сжимается, как выбрасывает обратно то, что я с таким трудом проглотил.

«*Мы хотим не хлеба!*» — кричат моряки в Кронштадте. «*Мы хотим свободы, а не подачек! Мы не хотим быть вашими рабами, даже сытыми!*»

Это рвотный рефлекс. Мое тело отвергает пищу, которую я так жадно поглощал. Я хочу избавиться от нее, хочу выплюнуть, хочу вернуться к голоду, который был понятным, чистым, правильным.

Но Основатель не дает мне этого сделать. Он бьет меня по спине. Резко. Жестко. Чтобы я отрыгнул. Чтобы я избавился от того, что не могу переварить.

«*Подавить Кронштадт*», — говорит он холодно. «*Они не должны мешать тебе есть. Они не должны мешать тебе жить. Ты должен есть то, что я даю. Даже если тебя тошнит. Даже если тебе больно. Другой еды нет. И другого будущего нет*».

Я чувствую, как меня тошнит. Как я срыгиваю обратно часть съеденного. Кровь, хлеб, надежда — все смешивается в липкую, горькую массу. Я чувствую вину. И облегчение. Одновременно. Я предал идею, но я остался жив. Я съел запретную пищу, но я выжил.

Основатель уходит. Ложка остается на столе. Я лежу в кровати, мокрый от пота, с пустым желудком и полным

ртом горечи. Я смотрю в потолок и пытаюсь понять: я победил или проиграл?

Я не знаю. Я просто жду. Жду следующего кормления.

Проходят дни, недели, месяцы. Я постепенно привыкаю к новой еде. Мой желудок учится переваривать рынок. Мои щеки наливаются румянцем. Я начинаю расти. Я уже не младенец — я ребенок, который учится стоять на ногах.

Но Основатель перестает приходить. Сначала я думаю, что он занят. Потом — что он устал. Потом — что он просто не хочет меня видеть. Но дни идут, а его нет. Моя кровать пустеет с одной стороны. Там, где он сидел, теперь только пустота и холод.

Я начинаю паниковать.

«Кто меня теперь покормит?» — шепчу я в пустоту.
«Кто меня защитит от лихорадок? Кто скажет мне, что делать, когда мир снова рухнет?»

Смерть отца — это не тишина. Это шум. Ужасный, пульсирующий, нарастающий шум. Мои внутренности начинают сокращаться, как при икоте. Камень, Лев, Иосиф — они спорят, они кричат, они борются за власть. Они не могут остановиться. Они не хотят останавливаться. Они хотят занять место Основателя.

А я лежу в кровати и чувствую, как мое сердце бьется то часто, то редко. Я не знаю, какой ритм правильный. Я не знаю, кому верить. Я не знаю, как дышать, когда воздух вокруг меня наполнен криками и спорами.

И в один из дней они забирают Основателя. Его тело оставливают во времени — бальзамируют, кладут в хрустальный гроб. И я смотрю на это. Я смотрю на своего отца, который лежит в стеклянной колыбели, и не понимаю, что чувствую.

Он мертв. Но его глаза все еще смотрят на меня из-за стекла. Они пронзают меня. Они гипнотизируют. Они говорят:

«Ты должен быть красным. Ты должен быть твердым. Ты должен идти вперед. Не смейся. Не плачь. Не сомневайся. Ты — титан. Титаны не имеют права на слабость. Ты — будущее. Будущее не имеет права на прошлое. Ты — мое дитя. Я создал тебя. Я дал тебе жизнь. Не предай меня».

Я закрываю глаза. Я не могу больше смотреть на него. Я устал. Я устал от кормлений, от лихорадок, от кронштадтских спазмов, от борьбы за власть. Я засыпаю в своей кровати — той самой, что теперь называется Саюз.

Союз Советских Социалистических Республик. Мне дали имя. Мне дали границы. Мне дали обещания. Но я все еще не знаю, кто я. Я — слишком большой, чтобы быть младенцем. И слишком слабый, чтобы быть Титаном. Я — между. Между прошлым и будущим. Между идеей и жизнью. Между Основателем и теми, кто придет после него.

Я засыпаю с мыслью, которая станет моей главной трагедией:

«Когда я проснусь, я хочу, чтобы меня любили. Или боялись. Лишь бы не забыли».

Мне снятся кошмары. Огромные заводы, которые строятся на костях. Марши, в которых люди идут в ногу, но не слышат друг друга. Очереди за хлебом, которые растягиваются на километры. Я вижу свое будущее в этих снах. Оно черное и красное. Оно железное и кровавое. Оно неизбежное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.